

Не один я, должно быть, все последние годы жил с ощущением, что общее наше строительно-укрепительное дело вспоможения родному Отечеству получается у нас плохо. Не одному мне являлись подозрения, будто мы каким-то образом оказались не там, где должно нам быть. Оказались на пустынном берегу, от которого Русь отчалила, и это осталось для нас незамеченным. И мы взываем к отсутствующим. Для литературы даже больше, чем для любого другого искусства, важны восприятие, отзыв, взаимосвязь с читателем, литература вдохновляется и питается энергией ответной волны. Мы тужимся восстанавливать разрушенное, складывать разрозненные части водоедино, но они выскользывают из наших рук и рассыпаются без того цементирующего состава, который есть читательское внимание; мы пытаемся склеивать разрозненные концы, но сухая бумага, не пропитанная сочувствием, не пристает к полотну. И глухая тревога охватывает нас: никогда еще мы не были столь искренни в своем гневе и боли за Россию, никогда еще в попытках сказать

громко и значимо, словами всеобщей мобилизации, не выкладывались мы до столь жертвенной опустошенности, и — напрасно?

Но напрасно ли?

Чтобы ответить на этот вопрос, в расчет надо брать не малые стада, пасущиеся на наших добродетельных засевах, и не большие, вдсятеро больше, срывающие цветы зла у тех, кто поставляет дурно пахнущие блюда. Эти количества читателей, как бы ни казались они малы на одной стороне и велики на другой, решающей роли не играют. Они лишь подтаивающие с разных боков от нахлеста волн края айсберга. Развернись завтра под изменившимся ветром айсберг (а он разворачивается) — и наших читателей прибудет, а не наших убудет, однако общее их число останется примерно одинаковым. По сравнению с огромной и глухой массой великана, влачимого непогодой и вморозившего в себя культурную потребность, оно есть лишь малая частица этого великана. За десять лет число читателей сократилось как не в тысячу ли раз, и это еще, надо думать, великодуш-

ные подсчеты. В один миг (а что такое десять лет, как не один миг?) литература потеряла не только государственное, не только общественное значение, но и значение органическое, личностное. Не считать же, право, за читателей глотателей душещипательных пустот, от которых пухнет книжный бизнес, вроде серии одного из издательств «сто самых-самых...» — «Сто самых громких преступлений», «Сто самых трагических катастроф», «Сто самых известных любовников», «Сто самых страстных любовниц» и так далее, много чего прочего «по сто». Все это наркотические таблетки в книжной обертке — и любителей их туда, к наркоманам, а не к читателям и следует относить.

После Октябрьской революции, когда произошел не меньший слом народного бытия и безвкусица и пошлость также ударились в разгул, до такого не доходило. Вспомним: тогда сразу после Гражданской войны появились Шолохов, Леонов, Булгаков, Платонов, талант молодого Есенина возрос до гениальности. Притом каждый из них принимал новую жизнь в сомненьях и бореньях, которые, казалось бы, должны были сказаться и на позиционном расположении вокруг литературы, и на самой литературе. Этого не произошло. Этого не произошло — несмотря на тогдашнюю разноголосицу и даже на прямую директиву Агитпропа: «Взорвать, разрушить, стереть с лица земли старые художественные формы». Что такое для искусства уничтожить старые художественные формы? Это убить отечественное искусство, отменить национальную самовыговариваемость, заставить русский язык говорить не по-русски, из русской души устроить разлив и развес на все вкусы. Не вышло. Задумаемся: ведь значит же что-то тот факт, что юная советская литература не стала ожидать толстовских сроков для написания «Войны и мира», а принялась создавать эпопею за эпопеей о Гражданской войне тотчас же, по горячим следам, словно торопясь заявить неизменность и крепость своих отеческих и художественных принципов.

В одной из последних статей Валентин Непомнящий сказал, что роковой ошибкой большевиков

было то, что они не стерли с лица земли русскую классику и позволили ей спасти культуру XX века и тем самым спасти Россию. Парадокс: Василий Розанов считал, что русская литература своей безудержной критикой существовавшего порядка во весь XIX век погубила Россию, приведя ее к революции; Валентин Непомнящий уверен, что русская литература после революции спасла Россию. Спасла в таком случае чем? Той ее частью, можно быть уверенным, в которой русское крестоношение, тяжкое и бесконечное, из коего слагалась социальность, существовало среди удивительных даров родного, вынесенного из прошлого, приумноженного настоящим, раскинутого по земле и душам. Оно, это крестоношение, неотделимо было от дивной поэзии народной жизни. Из нее-то ткалась и слагалась, выпевалась и выдыхалась, из этой обильной и яркой самопряди бытия, — красота наших устных, а затем и письменных сказаний. Да и что такое художественность литературы, как не вязь родного с родным, любого с любым, как не чуткие и страстные всполохи от прикосновения к душевным закладам, не предельная пронизательность, не сказанность несказанного, не целомудрие чувства, не слава нашему земному пути! Одна художественность, то есть красота русской литературы, в которую облакалась красота нашей самобытности, способна была спасти Россию и не дать забыть ее духовные и нравственные формы. Один русский язык, это немолчное чудо в руках мастеров и в устах народа, занесенное на страницы книг, — один он, объявлявший собою всю Россию, способен был поднимать из мертвых и до сих пор поднимал.

Но если так, если литература прошлого века спасла культуру и Россию в XX, да еще продолжалась после революции лучшими своими качествами в лучшей, коренного свойства, современной литературе, то что же случилось затем, пятнадцать и десять лет назад, когда, получив подкрепление, она оказалась бессильной перед охватившим страну смятением? Дополним, что подкреплением была не только советская литература, но и эмигрантско-русская, пронизанная такой тоской

и любовью к России, точно это было взыскание Града Земного. Но — как обмороком обнесло, как дряхлостью побило всю нашу могучую книжную рать. В чем дело?

Красноармеец Андрей Платонов, начавший печататься сразу после Гражданской войны, писал: «Труд — это совесть». Один из его героев говорит: «Без меня народ неполный». И никому не приходит в голову не доверять этим словам или насмеяться над их наивной простотой, которая составляет у Платонова приземленную, как бы сознательно не поднимающуюся над землей мудрость. Подобное же безыскусное просторечие, точно валяющееся под ногами, только нагнись и подбери, а нагнувшись, поклонись его древнему и глубокому смыслу, легко найти и у красноармейца Леонида Леонова, и уprodразверстовца Михаила Шолохова. Революция прежде всего была социальным переворотом, со стороны социальной она посягнула на душу, отменив небо, но труд она отменить не могла, разрушенную страну надо было восстанавливать. Труд, напротив, был героизирован. А труд есть совесть. Душа имеет два источника питания — небо и землю, и секуляризованная, обмирщенная душа тем старательнее цеплялась за землю, чем туже перекрывалось небесное сообщение, и, затаившаяся, однобокая, выжила, сыскав в земле и небесные заклады.

В эти годы мы часто вспоминали слова Тютчева в адрес народа: «Невыносимое он днесь выносит». Вспоминались они, конечно, и раньше. Иван Ильин, размышляя над ними, объясняет эту сверхвыносливость народа тем, что идет он, не сворачивая, по своим исконным путям. Точнее не скажешь. Исконное, родное, родительское, нагретое и исхоженное многими и многими поколениями, вобравшее в себя их опыт и силу, любовь и веру, и голгофу, и воскресение — вот солнце второе и незакатное, когда небесное солнце затянуто тьмой.

Вторая революция на этом веку в России, происходящая на наших глазах, страшнее, разрушительней, подлее первой. Большевики не

скрывали своих целей, теперешние революционеры вкатили машину разрушения тайно и предательски. Знамена подлости осеняют их действия от начала до конца. У большевиков была идея, и если даже принять за истину, будто они строили и укрепляли государство единственно для того, чтобы спасти свою власть и затем экспортировать ее по всему миру, то и это сейчас, на виду установления единого мирового порядка, выглядит естественным в жестоком противоборстве недавнего прошлого — кто кого? У «наших» же плюралистов и реформаторов, певших поначалу сладкими сиренами, не водилось другой цели, кроме разрушения. И мировые их притязания проще — расплзтись по миру пауками, раздувшимися от разграбления богатейшей страны. Уже и теперь появляются откровения, вроде тех, что они никогда не ошибались в России и знали ей подлинную цену — стране, не способной вписаться в мировое сообщество, и народу, не годному для цивилизованной жизни. Это-то как раз, допустим, и правда, если под «неспособностью» и «негодностью» понимать самостояние, не дающее России раствориться в чужих мирах, да ведь хулители не это имели в виду. Цинизм сделался их святой правдой, труд, как понятие известное, поруган, воспитанием народа стала его выбраковка. Платоновское (Андрея Платонова) «без меня народ неполный» потеряло смысл. Из всех отстойников и запруд, из тайников и спецприпасов потекла литература, возглавившая авторитетом искусства разрушение человека, его земли и миропорядка.

И повисло в небе, отпечатавшись с заведенного хода: разрушенное не восстанавливать, пусть так и будет.

Вот почему самая читающая в мире страна превратилась едва ли не в самую не читающую. Это была естественная и разумная реакция читателя на происшедшее. Его обманули и предали с такой жестокостью, какой, должно быть, в мире не бывало. И, не разбираясь в одних случаях, кто его предавал и кто предостерегал, а в других случаях и способный разобратся, но не желая в вели-

чайшем своем сокрушении делать разницу между теми и другими, подобно тому, как и мы, более посвященные в пружины разрушения, не хотим видеть этой разницы между лучшими и худшими в стане переворотчиков, — народ в инстинктивной потребности сохранить себя отпрянул от всякого печатного слова, как от проказы.

И вот в этом чистом поле, оставленном прежним читателем («чистом», конечно, условно, оставили не все), начал появляться новый читатель, или переродившийся в измененных условиях, или принявший в душу семена смятения и безысходности. Погребальная литература, как часть, притом активная часть сегодняшнего постмодернизма, приобрела известность не потому только, что напористой других работала локтями, пробиваясь к популярности, и не от какого-то особого таланта авторов, затронувших чувствительную струну в сердцах людей, а по причине, прямо происходящей из очевидности: смерть в России превзошла жизнь, умирающих больше, чем рождающихся. Повевало тленом — и внутри его тотчас зашевелились черви, как продукт разложения некогда здорового тела. Признавай не признавай их, а они есть. Не больно эстетического вида, но свою работу выполняют. И читают сегодня всех этих Сорокиных и Яркевичей из трупоядствующей словесности больше, судя по тиражам их книг, чем Виктора Лихоносова, Василия Белова и любого из нас. Таковы культурно-потребительские реалии в России конца столетия — как закономерно наступившие после катастрофы, так и искусственно поддерживаемые, возвращаемые, чтобы продолжать посрамление жизни.

Я взял сейчас крайнее направление в объединенной темно-грязной литературе, чья продукция, назойливая и вызывающая, обильно рассеивается по всем городам и весям. Впрочем, единственным крайним направлением ее считать нельзя. Там крайних, перехлестывающих одно другое изобилием скверны, немало. И все они находят спрос. Понятно, что это пристрастие к ним болезненное и временное; как только оздоровеет жизнь, оно отступит. Оно уже и сегодня опаздывает относи-

тельно происходящих перемен. Россия выстояла, в этом больше нет сомнения. Она выстояла, если говорить, смещая времена, и о будущих, не менее тяжелых и коварных испытаниях. Будут еще, как в Смуту XVII века, и присяги неразборчивых патриотов на верность Лжедмитриям, будет череда примерок на трон от боярских партий то польского, то шведского, то датского ставленников, будут шатания и нестроения, как обычно, особенно злые на исходе напасти, — будет еще многое, даже и не бывавшее... Но прежде ополчения войскового, кладущего конец беспорядку, встает невидимое духовное ополчение, собирающее Божью правду со всех земель и российских народов и водружающее ее, как хоругвь, посреди России, чтобы начертанные на ней скрижали не укрыли никакие расстояния и не заглушила никакая разногласия. По ним, по этим начертаниям зывающей решимости, и поступает народ, решая, собирать ему войсковую силу или мирной перебороть зло. И тогда точно пути спадают с рук и ног и выправляется сбивчивое дыхание. Как вдохновение, поднимается в людях воля снять с себя проклятие, наложенное нечистыми умами. Среди тьмы прислужничества появляются прокуроры, ищущие справедливого закона для преступников, губернаторы, радеющие за свои земли, а в правительстве объявляются лица, глядящие на Россию мимо Кремля. Это что-то да значит!

У нашего писательского Союза не запятнанные перед Отечеством перо и честь во все минувшее окаянное десятилетие. Мы не отступили от праведности и совестности литературы. Кажется, тот же Василий Розанов сказал о славянофилах, что они звонили в колокольчики, в то время как в стране гудел набат, призывающий совсем к иным действиям. Должно быть, и мы звонили в колокольчики, но не из робости или малосилия, а оттого, что слишком густо был забит злом сам воздух. Но не предали мы ни земных, ни небесных крепостей, на которых стоит Россия, ни святынь наших, ни души, ни оружия, ни товарищей...

Но я не напрасно заговорил о новой литературе и новых читателях. Нет нужды оговариваться,

ЗАПРЯГЛИ ИЛИ НЕ ЗАПРЯГЛИ? (выступление на V Всемирном русском народном соборе в декабре 1999 года)

что жизнь, в какой бы трясине она ни купалась, все равно идет вперед и обновление литературы неизбежно. Талант не имеет клеточного состава, но и он под влиянием внешних условий способен видоизменяться. Но изменения изменениям рознь. Там, на той стороне литературы, где свобода самовыражения творит «чудеса», читателей сегодня больше и книги выходят легче. Ну и что стоит нагнуть в ту сторону перо? Нутро не пускает? Подскоблить нутро от наростов, сделать что-то вроде пластической операции. Язык не дает? Подцензурить язык, чтобы всяких бабушкиных зарослей поменьше. Полный переход туда, как правило, у нашего брата не получается. Не та порода, да его там и не примут как равного. Однако поклониться чужим пенатам, из желания понравиться позубоскалить над промашками природы в изобретении русского человека, позволить героям «мать-перемать» или обучить их новоязу, выпить в мертвецкой, укладываясь с женщиной в постель, пригласить для услуг читателей — ну что тут такого? Да на новых воздухах это все просто необходимо!

Бог с ними, в мире, где торгуют государствами, мелкая спекуляция действительно неизбежна. Но, чтобы спекуляция называлась спекуляцией, нужно, чтобы рядом незыблемо держала за собой место праведная жизнь.

Повторю: народ наш спасался во все времена исконными путями. У исконного, самобытного, родного есть все для удобной, безбедной и красивой жизни. Размер нашей души и свойство нашего характера слеплены им и для него. Как бы ни изгибали наши перерожденцы спины, в какие бы одежды ни рядились, в какую бы привозную ипостась ни ударялись — везде они будут чужаками и межеумками, повсюду на них будет проступать клеймо вора, обворовавшего самого себя.

Вот там, в родном, и надо искать читателя. Оттуда он и придет. Не заманивать его, не заискивать, не повышать голоса, а выдохнуть из души, как «мама», чистейшее слово, и так выдохнуть, чтобы высеклись сладкие слезы и запело сердце.

Мы умеем это делать. И мы обязаны это сделать.

До странности окостеневшими бывают общественные пристрастия к ошибкам и односторонним мнениям. В том числе и у людей широких и проницательных умов, у летописцев отечественной истории и души народной. Человек легче проникает в дальние миры, во всякие макро- и микрокосмы, а в себе самом, в общности таких, как он, разобраться не хочет. У нас не только нет цельной науки о нашем народе, но и взгляды на него настолько разные и порой противоречивые, будто мы свалились с луны, а не вышли из его недр. Загадочная русская душа до сих пор представляет тайну не для одних лишь иностранцев, усаживающих ее под развесистую клюкву, но и для нас, судящих о ней с пространной приблизительностью. Вот уже два века, начиная с Радищева и Чаадаева и заканчивая нашими современниками как из левого, так и из правого лагеря, русский человек все в себя не укладывается. Разноречивые суждения о нем всем нам хорошо знакомы. Для одних он существо безвольное, склоняющее свою выю под любое ярмо, нетрезвое, недалекое и так далее. И не объясняется этими первыми, как такое пьяное и «растительное», малоподвижное во всех отношениях существо построило империю в шестую часть суши, прошло победными парадами в Варшаве и Вене, Париже и Берлине, создало могучую индустрию и могучую науку и первым полетело в космос. Вторые обращают внимание как раз на это, на могучую деятельность русского человека, и обходят молчанием периоды его затишья, вялости и анархии. Третьи, чтобы как-то согласовать те и другие начала, предлагают теорию затухания наций, по которой выходит, что русские сейчас и находятся в периоде такого угасания. Да, были времена великих подвигов и побед, но тысячелетний срок, отпускаемый историей для активной жизни наций, миновал, наступила пора органической старости.

Тут и являются несоответствия.

Семьсот лет назад, когда о затухании нации не могло быть и речи, Русь лежала в тяжелом и молчаливом рабстве и, казалось, даже не помышляла об освобождении. Но явились вожди — полководец и пастырь — и точно из небытия собралась она на Поле Куликовом и отстояла себя. Триста лет назад, когда о национальной дряхлости тоже не приходится говорить, Смута продолжалась не менее двадцати лет, и неизвестно, существовала ли Россия в те полтора года, когда на престоле сидел чужеземец, — все было в штатаниях, разброде, несогласиях и взаимоистреблении. Но только ополчение Минина и Пожарского двинулось на Москву — словно током пронизало разметанный в распре народ, и больше он уже не сомневался, чью взять сторону. С Суворовым ходили крепостные людишки с задавленным сознанием и волей, как пытаются внушить нам, — и какие распрямлялись богатыри! К Кутузову на Бородино на подмогу отступающей армии выступило народное ополчение из мастеровых и холопов. В последнюю Отечественную не половину ли войска составляли мужики из подъяремной колхозной деревни, которую не перестают сравнивать с крепостничеством?..

Неужели только и всего: пока гром не грянет, мужик не перекрестится?

Достоевский, сетуя на то, что русские писатели только и знают, что обличать всяких уродов и ставить Россию к позорному столбу, недоумевал: почему у них, у писателей, ни у кого не хватило смелости показать во весь рост русского человека, которому можно было бы поклониться. Обвинения Ивана Солоневича в адрес великой русской литературы еще тяжелее: он считает, что искаженным образом нашего соотечественника, всех этих непротивленцев, самоедцев, мечтателей, босяков, калик переходящих и пр., русская словесность спровоцировала Германию в сорок первом на войну. Гитлеровские идеологи судили по этим героям о России как о колоссе на глиняных ногах, заполненном внутри пустопорожьем. И — жестоко ошиблись. Но и как было не довериться этому первоисточнику национальной души, как было

не считать со страниц прославленных книг это торжество лени, беспечности и неприкаянности! Солоневич, как до него Розанов и Меньшиков, убежденные, что именно славная наша литература привела Россию к революции, конечно, переусердствовали в категоричности своего приговора, но не прислушаться к ним нельзя.

Но, с другой стороны, нельзя и заподозрить литературу в умышленном искажении жизни.

Тут разгадка, мало замечаемая, заключается в том, что русская словесность вся вышла из созерцательности, то есть непрактичности русской души, признаваемой за слабость. Непрактичность — ее мама родная. И Обломов, и Манилов, и Безухов, и Каратаев, и многие другие, вплоть до «чудика» и Ивана Африкановича — все они могли бы стать русскими писателями и сделать героями своих книг Гончарова, Толстого, Чехова, Тургенева, Шукшина и Белова. Природа у них одна. Коробочка, Собакевич и Ноздрев не могли бы, потому что это карикатура, пусть и гениальная. Штольцы и Шульцы тоже не могли бы — эти не из нашего теста. Слабость созерцательности, вдумчивости, обращенности к дальним и невидимым пределам, грех, казалось бы, отсутствия, какой-то прерывистости бытия есть такая же полноправная и необходимая сторона нашего характера, как сторона деятельная и волевая. Это двуединство стоит дорогого. В кажущейся слабости наращивается сила и уверенность, дремлющие мускулы исполняются порыва, в сосредоточенности являются откровение и постижение, в мечтательности можно увидеть и паломничество к желанным палестинам. Это не провал деятельности, а переход к другому рода деятельности — духовной. Она выпестовала нашу православную душу, самую прочную, и воздвигла ее на высоту, с которой дароносит лучшая в мире культура. В ней-то, должно быть, и обитает то знаменитое женское начало, которое, как единственное, склонны относить к России. Нет, другая сторона русской сущности — мужеская, производящая способность к сверхъестественным деяниям. А вместе они и составляют то плодотворное лоно нашего духа, в котором не прекраща-

ется вынашивание. Не прекращается в том числе и теперь.

Эта картина отнюдь не отрицает наших грехов и болезней, для которых понятие «смертные» долго оставалось меркой только недуга, но готово стать и меркой савана. Не дряхлость нам грозит от выроста из сроков, назначаемых для пассионарной жизни наций. Эти сроки исчислялись по европейским стесненным стандартам, а мы народ большой, многоземельный, издавна принявший в себя десятки и десятки инородческих племен и не изнашивший свежести своей крови и силы. Нет, не это должно пугать нас сегодня.

Знаменитая триада, незыблемость которой для полноценной жизни всякого государства прошедшие сроки лишь подтвердили, остается и сейчас основным условием спасения России. Вера, Власть, Народ. В старой России это звучало: Православие, Самодержавие, Народность. Монархия пала, вера подверглась гонениям, круг национальных, исторических, художественных и бытийных ценностей, питающих народ, был сознательно сужен и выхолощен. Народ перешел в услужение новой государственной системе. Это не то же самое, что служение Отечеству. Иногда они совпадали, как в Великую Отечественную, но чаще разнились. Усталость нашего народа, которую нельзя не видеть, объясняется еще и тем, что слишком много сил и жертв он отдал в XX веке порядку, оказавшемуся нежизнеспособным по той причине, что он не мог считать Россию своей духовной родиной. Была власть, и сильная, было огромное социальное облегчение, но отвержение души и Бога сделало народ сиротой. Десять лет назад веру с триумфом вернули, но не стало власти. Власть, отдавшаяся беспримерному стяжательству, надувательству, бросившая народ на растерзание нищете, преступности, смертельному облучению телевизионной радиацией, распродавшая жуликам народную собственность, оставившая его без работы, — это не власть, а напасть. Свободы, как спущенные с цепей разъяренные псы, сделались способом разрушения государственности. Все это нам слишком знакомо, и все это го-

рит в нас нестерпимой мукой, чтобы продолжать перечисление бед.

Подгибается один из трех столпов, необходимых для прочности державы, — и все государственное строение начинает крениться, заваливаться. Если бы каким-то чудом удалось сейчас получить зримую картину в рост нашего общего дома, она напугала бы нас больше, чем мы представляем. Веровая опора восстановлена, но властная, полностью разрушенная, представляет собой сыпучий курган, неспособный держать свою долю ноши. И потому вся непомерная тяжесть здания вдавилась в плечи народа. Его неподвижное напряжение, его застывшая мука невольно заставляют пугаться: жив ли он, не превратился ли он в окаменевшего атланта, согбенного и бесчувственно держащего своды полуразрушенной громады?

Нам недосуг бывает оглянуться, что там, за нашими спинами, какие думы вынашивает брошенный на произвол судьбы недавний наш кормилец, которому отказано и в этом праве — быть кормильцем. Доносится только, что устраивает он голодовки (попробуйте совместить: чтобы добиться куска хлеба, он отказывается от куска хлеба), перекрывает железные дороги, «развязаны дикие страсти под гнетом ущербной луны» (слова Блока), поддается обманному обещаниям, пустыми глазами смотрит в камеру, когда спрашивают его о надеждах. Но кто он такой, что за человек заступил нынче на несчастную стезю жизни в России, мы представляем плохо.

Никогда и нигде, кроме легкомысленной строки в советской энциклопедии, за народ не принималось все население страны. В прежние времена из него исключались высшие сословия, справедливо оставляя в народе тружеников и носителей национального сознания и национального задания. Так и мы сегодня должны сказать, что народ — это коренная порода нации, неизъявленная ее часть, трудящаяся, говорящая на родном языке, хранящая свою самобытность, несущая Россию в сердце своем и душе. Если бы случилось так, что не стало России, он бы, этот народ ее, долго еще, десятилетия и века, ходил по пустынным землям

и чужим городам и неутешно выкликал ее, собирал бы по крупичкам и обломкам ее остов.

Он жив, этот народ, и долготерпение его не следует принимать за отсутствие. Он не хочет больше ошибаться. Не забыл он, к каким последствиям приводило массовое участие низов в крестьянских волнениях и революционных бурях, боится порывов, могущих вызвать самоистребление, к радости наших врагов. Он ничего не забывает: народ — не только теперешнее поколение живущих, но и поколения прошлых, сполна познавших опыт минувшего, но и поколения будущих, вопрошающих о надежде. В этих трех ипостасях — прошлого, настоящего и будущего — только и можно сполна познать правду, которой суждено выстоять в России.

В провинции, кстати, где в условиях здорового консерватизма народ остается сам собой, он не ошибался и во все эти последние осадные годы, подавая безошибочное мнение о тех, кто искал его ручательства. Он долго запрягал, ожидая достойного предводителя, присматриваясь то к одному генеральскому мундиру, то к другому, и с досадой отвергал их; по-русски дотошно, в рассуждениях и наблюдениях, доискивался, как у Лескова, «какие могут быть народные средства против англичан» и «хорошо ли видеть правду в немце»; да и упряжь за долгие годы невыезда была разметана. Но теперь, судя по всему, запрягание кончилось. И к колокольному звону прибавился звук бубенцов, пока еще прерывистый, короткий, то с Выборга, то из Сибири, но все более настраивающийся на решительность. Есть надежда, что недалек тот час, когда, подхватив гагаринскую готовность к величайшему из подвигов, вновь на всю вселенную прозвучит это слово: поехали!

Землю облететь, конечно, легче, чем объехать и поставить на ноги Россию. Но и это нам не впервой. Однако, спасши себя, Россия не спасется. Чтобы заградиться от губительных сквозняков разгороженного настезь обезумевшего мира, не будет другой защиты, как выдвигать свои духовные, и не только духовные, крепости вперед. Обретем силу, законную, наследственную — и сдела-

ется это не на условиях вассальства, а дружества. В добродетельной крепости всегда искали и stanno искать заступничества. ■